

Владимир
Войнович:

Жизнь без границ

Писатель, который всегда завидовал живописцам



— Какое у вас сейчас гражданство?

— Немецкое и российское. Советское меня лишили в 81-м. Через восемь лет я подал заявление на немецкий паспорт, но советский паспорт позвонил в МВД Баварии и потребовал, чтобы немецкого гражданства мне тоже не давали. Он, мол, для нас очень ценный кадр, и мы не хотим его терять. Тем не менее уже в 89-м я приехал в Россию с немецким паспортом. А потом вернули и советское гражданство. Так что никакого гражданства по доброй воле я никогда не менял.

— Но вы видите во всем этом какой-то позитивный смысл?

— Западный паспорт удобен. Я вообще рассматриваю паспорт не как почетную грамоту («смотрите, завидуйте!»), а как пропуск. Немецкий дает возможность без визы ездить в любую страну Европы, в Америку. А формальные вопросы меня мало волнуют.

— Ну да! Когда вас обхалили в московском турбюро, вы гордо объявили себя немцем, и отношение резко изменилось. И это был ход конем, потому что на самом деле вы себя немцем вряд ли ощущаете.

— Могут показать паспорт: национальность — немец. В Германии ведь как? Кто имеет гражданство — тот и немец. Еврей, араб — все равно немец. В Америке все американцы. Но и там одна женщина русско-татарского происхождения меня спросила, кто я по национальности? Я ответил: русский. Как, спрашивает, чисто русский? Не чисто русский, говорю, у меня мама еврейка. «А фамилия — мамкина?» Нет, говорю, папина. «Разве Войнович русская фамилия?» — «Нет, сербская. Мой дедушка был серб». — «А бабушка?» — допытывается. — «А бабушка по папе как раз русская!» — отвечаю и тут же вспоминаю, что у бабушки был племянник по фамилии Стигору, румын. Но как же вы с такой фамилией, спрашивает, можете считать себя русским писателем! Тут я разозлился: — «А я не считаю, я и есть русский писатель!»

Как-то в России я выступал по ТВ, и меня спросили о корнях. А у меня по отцовской линии древний сербский аристократический род. Я сказал, что один из моих предков был русским адмиралом, основателем Черноморского флота и первым его командующим. После передачи позвонила знакомая, говорит: вы рассказывали о русском адмирале, чтоб доказать, что вы не еврей. И теперь, когда меня спрашивают: правда ли, что мой предок русский адмирал, я отвечаю: правда, но моя мама — еврейка, дочь

мельника. А я — русский по месту рождения, воспитанию, культуре и языку. В Европе, коль она объединяется, все будет европейцы. Это мне тоже подойдет.

— Звучит здорово. Но тогда вы азиат — родились в 15 км восточнее границы между Европой и Азией.

— А я родился в Душанбе. — Так какой же вы европеец! Азиат вы! Но живете сразу на две страны. Удобно?

— Нет. Я бы с удовольствием жил в одной, но не выходит. Семья живет в Мюнхене, жена работает, а дочка вообще немецкая писательница, она в 17 лет написала книгу по-немецки — для нее Германия родная страна, а Россия не совсем. Она не забыла, как ее отсюда выгнали вместе с папой.

— Что вас заставляет вести эту не очень удобную жизнь?

— Я же русский писатель, в России чувствую себя на месте, а на Западе я эмигрант. Для писателя быть на родной земле важно. Для живописца, возможно, менее важно.

— Так поэтому вы сменили перо на кисть!

— Да? А знаете, в этом есть резон! Меня давно удручает: мои книги переведены на много языков, а все равно я там живу среди людей, которым не могу себя объяснить. А на картинку немец смотрит, француз, и она им понятна. И я всегда завидовал живописцам и музыкантам, потому что их язык универсален, они с аудиторией общаются напрямую.

— Хоть один сюжет эмиграция вам подсказала?

— Все главные впечатления писателя — детские. Они и остаются. Кроме того, в России иное эмоциональное напряжение. Западная жизнь более благополучна и как объект исследования менее интересна.

— Все ваши вещи замешены на «сопромате». Среда сопротивления, вам было интересно эту стенку пробить, в этом были и отвага, и кураж. Ситуация изменилась — не стало скучнее?

— Материал перестал сопротивляться, кулаками машешь в воздухе. Но я об этом не жалею. У нас честный писатель был как эпидемиолог во время чумы. Чума кончилась, врач в простое, лечить насморки скучно, но не тосковать же теперь о чуме? Интерес к литературе падает во всем мире. Раньше стремились к серьезной книге, потому что только там могли получить ответы на свои вопросы. А сейчас все сами все знают. Труд писателя уникален, но ценится все ниже. Эта ситуация меня оскорбляет. В

магазине за то, что я писатель, мне даром ничего не дадут. А тут пишешь книгу год — на гонорар не прожизнешь и месяц.

— А вот при советской власти, я где-то читал, среди писателей шапки распределяли. И дачи.

— Распределяли. Но мне и шапки не досталось. Только по шапке.

— Вот вы и обижены, и злобствуете. Софонов, наверное, так не думал.

— Софонов, безусловно, так не думал. Может, я и обижен, но, правда рад, что советская власть кончилась. Сейчас я тоже обижен, потому что какие-то писатели пишут плохие детективы и процветают.

— Это рынок. Вы же не умеете так плохо писать! А что, кстати, сейчас пишете?

— Заканчиваю повесть, над которой работал — неудобно говорить — лет двадцать. Писал, откладывал, снова писал... Она — ответвление от «Чонкина». Там есть Агния Ревкина, жена секретаря райкома. Мужа арестовали, и она пообещала, что воспитает сына, который забудет его имя, а потом сама стала секретарем райкома. Оголтелая коммунистка, прозвище Огласненная. Дожила до наших дней, пока не погибла. Называется «Монументальная пропаганда».

— Повесть близится к концу или еще двадцать лет?

— Не-не, близится к концу, я нашел ход. Писал, все устаревало, откладывал. А сейчас нашел ход, перенес действие в наши дни — и сразу стало интересно.

— Падение интереса к литературе — это что, наступление бездуховности? Или просто приход телевизионно-компьютерного века, нового способа общения с информацией? Как вы относитесь к этому процессу?

— Как писатель — отрицательно, как гражданин — положительно. Я где-то записал: прогресс неизбежен, как смерть. Не хорош и не плох — неизбежен. Вполне возможно, он приведет нас к самоуничтожению. Когда-то литература была главным искусством. Это была возможность уйти в другой мир, испытать новые переживания. В детстве, в эвакуации я жил на хуторе, он был занесен снегом, и там я начал читать книги. И забыл о том, что жили мы впроголодь, ели какую-то толченую пшеницу... Конечно, если бы у меня там был телевизор, компьютер с играми, я бы, наверное, не читал.

— И не было бы писателя Войновича?

— При советской власти литература еще занимала свое место. По телевизору показывали «все о нем и немного о погоде», газеты скучные, времени много — на работе сидишь и восемь часов тайком читаешь. Домой приходишь — дома читаешь. А сейчас все заняты, куда-то бегут.

— Как складываются ваши отношения с новыми технологиями?

— Работаю на компьютере, подключен к Интернету.

— А что делаете в Интернете?

— Практически ничего, кроме переписки. Электронная почта — очень удобно. Одна компания собирается каталогизировать мои картины и ввести в Интернет. Знакомая из Америки прислала по e-mail письмо — хочет купить какую-нибудь мою картину. Я ей предложил зайти в Интернет и там выбрать.

— Ваши книжки гуляют в Интернете?

— «Чонкин» гуляет. Я даже нашел человека, который его туда загрузил. Он учится в каком-то из американских университетов, а зовут его аспирант Сергей Иванов. Я послал ему по e-mail письмо — мол, против ничего не имею, а просто интересно, зачем он это сделал. Ничего не ответил — наверное, испугался.

— Как случилось, что вы вдруг стали художником? Вы раньше рисовали?

— Впервые попробовал лет тридцать назад — не понравилось. Но тут как-то жене студенты подарили натюрморт — розы на окне. Вижу: чего-то этим розам не хватает. Перерисовал фон, розы сразу заиграли. Я подумал: ого! Я теперь и сам попробую что-нибудь нарисовать. Стал пробовать еще и еще, а потом так в это влюбился, что картины мне сняты, могу вскочить ночью и что-то приснившееся изобразить на полотне. Теперь это как вторая любовь.

— Может, уже и первая? Насколько я понимаю, она у вас отнимает больше времени, чем литература.

— Я правда испытываю такую радость оттого, что вожу кистью! Мне это кажется загадочным: берешь полотно, оно пустое, и вдруг что-то возникает, и мне это кажется таким чудом!

— А как вы овладевали техникой — тут же надо еще уметь краски смешивать!

— Одна несостоявшаяся художница спросила: кто тебя учил смешивать краски? Сам, говорю. Она заплакала: «А я всю жизнь этому училась и до сих пор не знаю, как это делается». Если меня назовут дилетантом, я не боюсь — я и в ли-

тературе дилетант, у меня никакого литературного образования нет. Мое образование в том, что читал много книг. То же самое в живописи: иду в музей, смотрю, как тени ложатся, как свет выписан. А главный учитель — сама природа.

— Пишете с натурой?

— Многое с натуры. Делаю рисунок карандашом или тушью, а дома по воспоминаниям пишу красками.

— А портреты?

— Больше всех пишу себя, потому что это самый терпеливый натурщик.

— А остальных — с фотографии?

— Нет, снимаю на видео. Мне важно, чтобы люди были в движении.

— Сколько полотен вы написали?

— Штук триста. Около полусотни продано. Написать картину — как написать рассказ. Но на средний рассказ мне нужен месяц.

— И, конечно, живопись вам заново открыла мир.

— Как писателю тоже. Раньше я людей больше слышал, чем видел. Нюансы речи и все такое. Одна знакомая говорила: Вова, ты хорошо пишешь реплику. А с тех пор, как рисую, стал больше обращать внимание на внешность. Пишу о персонаже — думаю, какие у него уши.

— По отношению к происходящему в России вы оптимист?

— Конечно. Лучше быть голодным на свободе, чем сытым в неволе.

— Но свобода открыла шлюзы криминалу. Промышленность заглохла. Кино чахнет, журналистика стала протестировать... Идут процессы, которые могут завести очень далеко.

— В зоопарке безопасней, чем в лесу. Но зверь хочет в лес. И человек тоже. И пусть в Центральном парке Нью-Йорка ночью могут резать, я все равно его предпочту Летнему саду в советском Ленинграде, где можно было свободно ходить по ночам. О чем мы вообще толкуем! При советской власти преступником было государство, и преступники врывались в квартиры с ордером на арест. А потом стреляли в затылок. Весь нынешний криминал не сравнится с преступлениями советской власти.

Моя жизнь вместила так много, что кажется, я прожил не 60 с

лишним, а тысячу лет. Мое детство — сущее средневековье, по улицам города ходили верблюды, товары развозили на ослах. Кавалеристы махали шапками, рубили на скаку лозу, готовились к боям с мировым империализмом. Но средневековье должно было однажды кончиться!

— А не была ли и советская власть лишь эманацией российской реальности? В «Москве 2042 года» вы писали о менталитете народа, который без очередного гениалиссимуса просто не может существовать.

— Не мог. Но кое-что изменилось. Во всей истории России не было таких свобод, какие появились сейчас. Она вступила в совершенно новую полосу, научилась бастовать, пикетировать, выбирать кого-то из кого-то. Сейчас гениалиссимусы уже не пройдут. В статье «Электронный враг народа» я писал, что компьютеры победят советскую власть. Она себя пережила, как конница или бипланы. Россия вступила в мир, где она связана соглашениями, долгами, компьютерными системами. А советская система может существовать только в условиях полной изоляции.

— Итак, новая Россия вас не слишком озадачила?

— Немецкое ТВ одно время показывало Россию так, словно здесь ничего нет, кроме нищеты, алкоголизма, отравленной пищи и уличного беспредела. Еду в Россию, все ужасаются: неужели не боитесь?! Приезжаю — кругом более или менее нормальная жизнь.

— То есть писательская интуиция не подсказывает вам, что в атмосфере России сгущается нечто грозное?

— Время от времени сгущается, но каждый раз находится выход. У страны, как у человека, есть инстинкт самосохранения. И мне кажется, сейчас он работает.

Валерий КИЧИН,
«Известия».

Фото Виктора АХЛОМОВА.